М. В. ШУМИЛИН

Шумилин Михаил Владимирович
канд. филол. наук,
старший научный сотрудник,
Лаборатория античной культуры, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: mvlshumilin@gmail.com

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ РИМСКОЙ ПОЭЗИИ

Аннотация. После Второй мировой войны латинистика сконцентрировалась на таком подходе к изучению политического контекста римской поэзии, который склонен выделять в поэтическом тексте либо провластные высказывания, либо противоречащие им детали. Следует, вероятно, сместить внимание на художественный текст как своего рода описание устройства мира во всей его сложности, подразумевающее в том числе и некоторую политическую философию, и перейти от обобщений к детальной работе с тем, как ведет себя политическое в каждом конкретном месте римского поэтического произведения.

Ключевые слова: политика, римская поэзия, Вергилий.

В настоящей статье мы представим содержание проекта Лаборатории античной культуры ШАГИ РАНХиГС «Литература и политика в становлении европейской культуры» в той его части, которая посвящена литературе Древнего Рима.

Римская поэзия, как и греческая, никогда не была полностью изолирована от политической жизни и заперта в «башне из слоновой кости». Даже в эпоху эллинизма, когда, на первый взгляд, поэты углубились в самодостаточное эстетство, такой изоляции не было [Cameron 1995]. Точно так же и в Риме — даже тогда, когда поэты увлеклись демонстрацией утонченной учености на греческий манер, литература все равно взаимодействовала с политикой [Griffin 1985], и неотерики Катулл и Кальв писали злобные эпиграммы на актуально-политические темы. Однако ситуация, в которой игнорировать политику даже в поэзии стало невозможно, была создана гражданскими войнами 40–30-х годов до н. э., и потому порожденная этим и позднейшим временем литература (которая и без того заработала себе

© М. В. ШУМИЛИН

статус бессмертной классики) парадигматична для осмысления взаимодействия поэзии и политики в целом. Прежде всего речь идет о так называемой поэзии «Золотого века», эпохи Августа, однако к последующей имперской литературе эти соображения часто тоже применимы.

Не случайно именно вокруг литературы эпохи Августа сконцентрированы споры об отношениях между поэтом и властью в Риме. В этой области на протяжении XX–XXI вв. было сломано множество копий, но модель, которая устроила бы всех ученых, так и не была найдена. Наука Нового времени обычно описывала это время как период идиллических идеально-меценатских и взаимовосторженных отношений между правителем и писателями[1], пока Рональд Сайм в своей очень влиятельной в англоязычном мире книге 1939 г. «Римская революция» не дополнил эту картину образом циничного и беспринципного «фюрера» Августа, при котором купленные поэты играли роль элемента государственной пропаганды [Syme 1939: 459–475]. Сайм даже объяснял эту новую политизированность поэзии непосредственным вмешательством власти: «Предполагалось, что новая римская литература будет скорее гражданской, чем индивидуальной, скорее полезной, чем орнаментальной» [Ibid: 461] — подразумевалось, наподобие идеалов социалистического реализма или нацифицированной культуры.

Послевоенная наука об августовской (и поставгустовской) культуре по-разному относилась к построениям Сайма, но так или иначе реагировала на них и в любом случае отмежевывалась от распространенных в 1930-е годы попыток трактовать аналогию между Августом и европейскими диктаторами в пользу последних [Thomas 2001: 222–259; Ziolkowski 2005: 155–156]. Сам Сайм, конечно, просто поменял в этом дискурсе знак с плюса на минус [Momigliano 1994: 72–73].

Ситуация развивалась по-разному в исследованиях визуальных аспектов культуры и собственно литературы. Литературоведы, принимая саймовское описание власти само по себе, оказались перед вытекающим из него неприятным вопросом: неужели в этом случае Вергилия, Горация и прочих следует считать, может быть, очень одаренными, но все же Демьянами Бедными своего времени? Ведь, и правда, мало кто из римских поэтов ранней империи обошелся без прямых восхвалений императора. По преимуществу ответом литературоведов стала полная инверсия модели

[1] Ср., например: «Nihil mirum hoc felicissimo literatorum aevo, omnium artium scriptores sua quaeque non nisi maxima cura et elegantia dedisse: cum Imperatores ipsi disciplinas non solum foverent et benevole quosvis exciperent doctos; verum etiam, gravissimarum occupationum vix habita ratione, aliquando maxima cum voluptate praeberent aures suos monumenta recitantibus» (Ничего удивительного, что в этот счастливейший для литераторов век писатели во всех областях искусства творили не иначе как с величайшим старанием и изяществом: ведь императоры сами не только поощряли науки и благосклонно принимали всех ученых людей, но иногда даже, чуть ли не пренебрегая своими серьезнейшими занятиями, с величайшим удовольствием предоставляли свой слух декламирующим собственные произведения авторам) [Funck 1727: 29].

Сайма: несмотря на открытые восхваления власти, чуть ли не у каждого римского поэта стали находить ее критику. Получившееся противоречие разрешалось за счет предположения, что открытые похвалы были неискренним «отбыванием номера» и включались в тексты только из-за внешней необходимости, в то время как настоящее отношение к власти, которое у всех поэтов было негативным, выражалось скрытым образом, в зашифрованном виде. Действительно, как же можно допустить, что великие римские поэты (которых и старая традиция наделяла статусом непререкаемых мудрецов, а иногда нравственных авторитетов[2], и новые литературоведческие школы вроде американской «новой критики» склонны были все больше защищать от любых упреков[3]) искренне хвалили власть, — спрашивала западная наука начиная с 1960-х годов? Место образца в ней заняло изучение Вергилия. Здесь стала доминировать «гарвардская», или «пессимистическая», школа, настаивавшая на том, что по тексту Вергилия рассеяны тревожащие читателя намеки на то, что создаваемая на поверхностный взгляд картина триумфального воцарения справедливого государя не так уж однозначна[4]. Попытки отдельных ученых, которых окрестили «новыми августовцами», вставить отрезвляющие возражения и вернуться к более или менее буквальному пониманию восхваляющей составляющей поэм мантуанца были сравнительно малочисленны (см.: [Hardie 1986; Galinsky 1988]; ср.: [Гринцер 2008]). «Гарвардская» модель оказалась легко применима и к другим авторам, и поиск скрытых диссидентских сообщений в римских поэтических текстах стал доминирующей тенденцией латинистики (см., например: [Benker 1987; Dominik 1994; Bartsch 1997; Putnam 2000]) и, по сути дела, продолжает занимать эту позицию.

В исследованиях других аспектов августовской культуры, однако, события развивались иначе. После войны сперва просто наступило затишье, которое потом сменилось новым бумом, изначально отталкивавшимся от саймовской идеи «пропаганды» (действительно, в случае с постройкой храма или с чеканкой монеты прямое вмешательство принцепса на первый взгляд представляется более логичным, чем в случае с литературным произведением), однако затем предложившим более динамическую модель сложных и не прямо «приказных» отношений между проповедуемыми властью ценностями и миром образов, в котором жил римлянин эпохи Августа [Zanker 1987; Galinsky 1996]. Показательно, что главным идеологом новой модели стал Карл Галински, который также знаменит как один из главных «новых августовцев».

Идея нашего проекта заключается в том, что продуктивным подходом к политическому аспекту римской поэзии будет снятие само́й оппозиции между прямолинейно провластной и прямолинейно оппозиционной поэ-

[2] См., например: [Comparetti 1872].

[3] См., например: [Brogan 1993].

[4] Начало было положено работой [Parry 1963], см. также [Johnson 1976; Boyle 1986; Lyne 1987; Putnam 1995], по-русски: [Васильева 2008].

зией. В каком-то смысле разумнее будет ввести в литературу ту идею, которую Галински отстаивал применительно к августовской культуре в целом: перед нами явно не плоские высказывания в пользу или против Августа как такового, а сложная сеть, сплетаемая, среди прочего, из по-разному трактуемых политических (или имеющих политические ассоциации) тем. Впрочем, сам Галински, вероятно, применяет эту идею к литературе слишком грубо. Действительно, у него писатели творчески жонглируют различными темами, связанными с Августом, но делают это примерно таким же образом, как магистраты, ответственные за чеканку монет, — конечно, не по указанию какого-нибудь августовского аналога Геббельса, но без сопротивления принимая систему взглядов и образов, предлагаемую принцепсом [Galinsky 1996: 225–287]. Не факт, что в случае поэтов это действительно так.

Вообще обе школы изучения Вергилия, по сути, довольно сильно примитивизируют психологию писателей и в результате лишают изучение отношений политики и поэзии в Риме его парадигматического значения: если те же самые модели можно при желании применить к равно далеким от нас и непонятным древним текстам, то к современности они применимы очень плохо. Откровенно пропагандистский или просто сводящийся к провластному тезису текст сегодня представить, конечно, несложно, но, как правило, он будет иметь мало общего с качественной (или хотя бы просто статусной) художественной литературой. Странно было бы всерьез предполагать, что «Энеида» написана, в соответствии с формулировкой античного комментатора, только для того, «чтобы подражать Гомеру и восхвалить Августа, прославляя его предков», — странно хотя бы потому, что весь текст подчинялся бы тогда одной-единственной вполне примитивной идее (а сконструировать такой текст из «Энеиды», приравняв ее героя к принцепсу, конечно, легко — хотя это и требует, наверное, определенного насилия над текстом). За последние полстолетия науке удалось показать, что на уровне отдельного небольшого отрывка августовские поэты, включая Вергилия, были способны довести текст до поразительной, граничащей с извращенной степени технической усложненности. Вероятно, следует все-таки видеть противоречие в той идее, чтобы римский поэт писал сверхсложно на техническом уровне и при этом сверхпросто на содержательном — хотя бы потому, что технический и содержательный уровни на самом деле невозможно полностью разделить, а нагромождение аллюзий и спрятанных в каждой мелочи хитростей всегда заставляет задуматься и о содержании присоединяемых к поверхностному смыслу дополнительных ассоциаций.

Странно было бы всерьез предполагать, что все римские писатели будут равно лояльны власти, — равно как и что все римские писатели относились к любой власти плохо. Идея, что писатель не может относиться к власти хорошо, больше говорит об ученых второй половины XX и, может быть, начала XXI в., чем собственно о римлянах. Логичнее предположить, что универсальных правил в этой области нет и разные люди имели разные

взгляды. Критики «гарвардской школы» правы в том, что абсурдно возводить в правило недоверие к тому, что прямо говорят о политике поэты; в то же время неправильно делать вместе с тем же Галински вывод о том, что любой включающий в себя похвалу императору текст панегиричен по замыслу, — и не только в том смысле, что не стоит сводить текст к одной фразе.

Художественный текст, строго говоря, не является высказыванием тезиса. Если бы Тургенев хотел написать, что нигилизм — зло, он написал бы предложение «Нигилизм — зло», а не роман «Отцы и дети», ведь все, кроме этой фразы, было бы избыточным для выражения этой мысли. Это не значит, конечно, что Тургенев считал нигилизм добром или не хотел сказать, что нигилизм есть зло; это просто вопрос из другой плоскости. Художественный текст в принципе не сводим ни к какому другому замещающему тексту, даже к очень хорошему пересказу (пересказ всегда будет неадекватной заменой для текста из-за тех самых мелких деталей, которые пропущены), даже к пересказу, который будет отличаться только двумя словами (именно отсутствие этих двух слов будет создавать не вполне точное представление об оригинале). Полностью адекватно передать содержание текста можно, только в точности воспроизведя этот текст, и, конечно, каждое слово на самом деле участвует также и в создании совокупного содержания. Соответственно, художественный текст как раз специфичен и интересен тем, что он по определению не высказывает никакого тезиса, но предлагает читателю наблюдать за некой необъясненной сетью образов и происшествий[5]. Это не значит, что автор не может сам приложить к тексту

[5] Легко заметить сходство этих утверждений с взглядами, которые защищали неокритицисты, ср. [Brooks 1947]. Хотя о неокритицизме принято говорить как о прошлом событии в истории литературоведения, наиболее удачные новые черты англоязычной науки о литературе второй половины XX – начала XXI в., остающиеся актуальными и сегодня, на самом деле связаны именно с этим направлением. Это, во-первых, отказ от литературоведения, которое боится по-настоящему обсуждать именно те стороны произведения, что делают его ценным с художественной точки зрения, и потому прячется в разборе множества других вопросов, только косвенно связанных с поэзией как таковой. Во-вторых, внимание к тому, что ценного видел в своем произведении сам автор, к тем «правилам игры», которые он подразумевал. В-третьих, отказ от того, чтобы огульно осуждать произведение после первого прочтения, не попытавшись сперва подойти к нему с симпатией и доверием. В-четвертых, акцент на детальной интерпретации текста, на которой (а не на абстрактных обобщениях) должно строиться обсуждение произведения в целом. Сегодня, когда предложенные структурализмом и постструктурализмом модели работы с римской литературой, по-видимому, все более истощают свой потенциал (содержание новых книг становится все более предсказуемым), разумнее не воспроизводить эти модели, пытаясь догнать то, что скоро само станет прошлым, а искать новые подходы, возвращаясь, в том числе, к успешным сторонам подходов прежних поколений, ресурсы которых не были исчерпаны полностью. Мы полагаем, что в этом контексте отдельные стороны подхода неокритицистов будут в числе первых кандидатов на реабилитацию. Парадоксальным образом, именно неокритицистский взгляд на устройство поэзии будет, на наш взгляд, наиболее применим к освобожденной от упрощающих оппозиций работе с римской поэзией в историко-политическом контексте, несмотря на знаменитую нелюбовь неокритицистов к изучению исторического контекста

или даже включить в текст прямое высказывание тезиса (либо объяснение того, что имеется в виду в тексте, — но это, скорее, не случай античной литературы). Это даже не значит, что тезис, прямо высказанный внутри художественного текста, нужно обязательно воспринимать как всего лишь один из голосов, одну из реплик, которую нельзя приписывать автору. Но в данном случае мы имеем дело с разными вещами, и рассматривать прямо высказанные в художественном произведении политические взгляды и политическую составляющую содержания собственно художественной части произведения следует р а з д е л ь н о.

Это первая вещь, которую, мы полагаем, нужно сделать, чтобы разговор о политике в римской поэзии стал продуктивным. Вопросы о том, искренне ли поэты восхваляют императоров, нужно рассматривать сами по себе, вне связи с обсуждением художественных произведений как художественных произведений (причем, конечно, как цельных художественных произведений, неотъемлемой частью которых являются и эти самые восхваления, но только уже рассматриваемые не как тезисы). В большинстве случаев точно выяснить, искренне ли пишет живший две тысячи лет назад человек, вероятно, просто невозможно. Но самое интересное — это рассмотреть отсылки к политической реальности как составляющую часть художественного целого.

Довольно очевидно, что результаты здесь будут другими: не случайно «новые августовцы» обычно исходят из перспективы более широкого исторического контекста, а не из замкнутого на себя разбора литературного текста в духе «новой критики», в то время как «гарвардцы», наоборот, всегда исходят в первую очередь именно из текстов Вергилия. Хотя Вергилий явно восхваляет Августа, сам текст «Энеиды», как и другие произведения Вергилия и прочих поэтов, устроен сложнее и безусловно содержит детали, «тревожащие» читателя и в общем противоречащие идее, что поэт намерен просто восхвалять Энея, Августа и созданную обоими великой римскую державу. Всякий художественный текст является своего рода описанием устройства мира, и в этом мире есть своя философия отношений между людьми и властью, как в узком, так и в самом широком смысле. Эта философия, скорее всего, устроена сложным образом, примерно столь же сложным, как и, скажем, нагромождения комбинированных аллюзий. И для описания ее требуется какой-то новый язык, поскольку подобный вопрос, по сути дела, почти не ставился[6].

Мы предлагаем сместить внимание с упрощенных вопросов о политическом лагере, к которому принадлежит писатель, на содержащиеся в худо-

поэзии (ср. высказывание Элиота: «Мой личный опыт вникания в ценность поэзии всегда показывал, что чем меньше я знаю о поэте и его труде до того, как начну читать этот труд, тем лучше… Подробная подготовка в области исторических и биографических сведений всегда была для меня препятствием» [Eliot 1932: 199]. Характерным образом, продолжение цитаты, которое не всегда приводят, звучит так: «Я признаю, что такой опыт, возведенный в правило, было бы очень трудно применить к изучению латыни и греческого»).

[6] Из попыток, отчасти схожих с нашей, можно назвать работу [Feldherr 2010]. Многие конкретные интерпретации Фельдхерра, однако, нуждаются в уточнении.

жественных произведениях описания устройства мира во всей их полноте. Другими словами, сложную организацию связанных с властью тем в «Энеиде» не следует считать лишь доказательством простого тезиса, противоположного тезису о восхвалении Августа: в сущности, даже теории о «множественности голосов» в «Энеиде» подразумевали именно этот простой тезис [Lyne 1987; Fowler 1990; Schiesaro 2008]. Организацию тем, связанных с властью, следует, как мы полагаем, изучать саму по себе, абстрагируясь от вопроса о непосредственно панегирической составляющей «Энеиды». Основой проекта должны стать не попытки найти ту или иную политическую формулу для, условно говоря, «Энеиды», но, наоборот, детальное комментирование в актуально-политическом свете ключевых с точки зрения соотношения поэзии и политики текстов. Политические интерпретации поэзии обычно страдают от чрезмерного внимания к целому и к обобщающим теориям, за счет которых теряется внимание к частностям, — проект предполагается построить противоположным образом, работая с мелкими деталями без стремления обязательно подчинить их чему-то крупному либо масштабным теориям. Только так мы, наконец, позволим тексту самому говорить о политике столько, сколько он захочет, вместо того чтобы заставлять его просто ставить галочку в графе «за» либо в графе «против».

Предполагается включить в сферу рассмотрения следующие группы текстов.

Набор классических текстов августовского времени, привлекаемых к обсуждению вопроса в первую очередь, достаточно стандартен: это «Энеида» Вергилия (особенно книги, в которых вопрос отношения к Энею и его исторической роли встает особенно остро: VI, VIII, XII), отдельные тексты Горация, элегии Проперция (прежде всего посвященная Риму и в то же время образующая особенно сложно устроенное целое IV книга). Отдельно мы рассмотрим «Метаморфозы» Овидия — текст, который выделяется в августовской литературе своим парадоксальным положением: с одной стороны, многие поколения воспринимали его как созидание прекрасного самодостаточного мира греческого мифа, т. е. опять же что-то вроде «искусства ради искусства»; с другой стороны, этот текст пронизан «августовскими» темами и отсылками, и заключительные его книги непосредственно подводят к власти династии Юлиев. Часто это ставили поэме в укор, обвиняя Овидия в том, что «римские» вставки сделаны им неорганично и без интереса (например: [Otis 1966: 280–281]). Как кажется, к колоссальному полотну этой поэмы особенно уместно подойти с вопросами о природе политического и с нашим подходом: двигаясь от фрагментарного комментария, мы должны будем объяснить, каким образом целое все-таки является единым.

Из поставгустовской литературы предполагается обратить внимание на тексты, посвященные крайней популярным в I в. н. э. сюжетам о римских гражданских войнах («Гражданская война» Лукана, вставная поэма о гражданской войне из «Сатирикона» Петрония, эпиграммы из сборника

Anthologia Vossiana, фрагментарные тексты) и сюжетам, отсылающим к римским гражданским войнам (вроде «Фиваиды» Стация). Предполагается описать эту навязчиво присутствующую в литературе эпохи тему как элемент того мира, который создают поэты, и объяснить место политического в этом мире.

В качестве параллельного случая следует также рассмотреть устойчивое доминирование одних и тех же теолого-политических моделей (посланный вышними богами спасать Рим хороший правитель, посланный богами преисподней дурной правитель) в позднеантичном панегирическом эпосе: у Клавдиана и его подражателей Меробауда и Сидония Аполлинария. Клавдиан близок поэтам I в. н. э. своей сосредоточенностью на одних и тех же моделях, но в то же время специфичен тем, что, по-видимому, является первым античным поэтом, про которого мы достоверно знаем, что он писал политические тексты по конкретному заказу правителя и даже под конкретное заказанное содержание [Cameron 1970]. Это должно сделать его случай особенно интересным с точки зрения методики работы с политическим содержанием поэзии.

Литература / References

1. Васильева Т. В. (2008) О герое «Энеиды» // Васильева Т. В. Поэтика античной философии. М.: Академический Проект; Трикста, 2008. С. 681–686.

Vasil'eva, T. V. (2008). O geroe "Eneidy" [About the hero of the Aeneid]. In T. V. Vasil'eva. *Poetika antichnoi filosofii* [Poetics of ancient philosophy], 681–686. Moscow: Akademicheskii Proekt; Triksta. (In Russian).

2. Гринцер Н. П. (2008). Стать Ахиллом, оставшись Энеем. Имя героя в финале «Энеиды» // Natales grate numeras? Сб. ст. к 60-летию Г. А. Левинтона / Под ред. А. К. Байбурина, А. Л. Осповата. СПб.: Изд-во Европейского Дома, 2008. С. 213–229.

Grintser, N. P. (2008). Stat' Akhillom, ostavshis' Eneem. Imia geroia v finale "Eneidy" [To become Achilles, being Aeneas: Name of the hero in the finale of the Aeneid]. In A. K. Baiburin, A. L. Ospovat (eds.). *Natales grate numeras? Sb. st. k 60-letiiu G. A. Levintona* [Natales grate numeras? Studies presented to G. A. Levinton on the occasion of his 60th Birthday], 213–229. St. Petersburg: Izd-vo Evropeiskogo Doma. (In Russian).

3. Bartsch, S. (1997). *Ideology in cold blood: A reading of Lucan's Civil War*. Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press. x + 224 p.

4. Benker, M. (1987). *Achill und Domitian: Herrscherkritik in der "Achilleis" des Statius* [Achilles and Domitian: Ruler-criticism in Statius' *Achilleid*]. Erlangen; Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität. 177 p. (In German).

5. Boyle, A. (1986). *The Chaonian dove: Studies in the Eclogues, the Georgics and the Aeneid*. Leiden: Brill. x + 196 p.

6. Brogan, T. V. F. (1993). New Criticism, The. In A. Preminger, T. V. F. Brogan (eds.). *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics,* 833–834. Princeton: Princeton Univ. Press.

7. Brooks, C. (1947). *The well wrought urn*. New York: Hartcourt, Brace and World. xiv + 300 p.

8. Cameron, A. (1995). *Callimachus and his Critics*. Princeton: Princeton Univ. Press. xiv + 534 p.

9. Cameron, A. (1970). *Claudian: Poetry and propaganda at the court of Honorius.* Oxford: Clarendon Press. xvi + 508 p.

10. Comparetti, D. (1872). *Virgilio nel Medio Evo* [Vergil in the Middle Ages], in 2 vols. Livorno: Francesco Vigo. (In Italian).

11. Dominik, W. J. (1994). *The mythic voice of Statius: Power and politics in the Thebaid.* Leiden: Brill. xiv + 198 p.

12. Eliot, T. S. (1932). *Selected Essays 1917–1932.* New York: Hartcourt, Brace and Company. x + 415 p.

13. Feldherr, A. (2010). *Playing gods: Ovid's Metamorphoses and the politics of fiction.* Princeton; Princeton Univ. Press. x + 377 p.

14. Fowler, D. (1990). Deviant focalisation in Virgil's Aeneid. *Proceedings of the Cambridge Philological Society, 36*, 42–63.

15. Funck, J. N. (1727). *De virili aetate Latinae linguae tractatus* [A Treatise on the Virile Age of the Latin Language]. Marburgi Cattorum: Ex Officina Philippi Casimiri Mulleri. 336 p. (In Latin).

16. Hardie, P. R. (1986). *Virgil's Aeneid: Cosmos and imperium*. Oxford: Clarendon Press. x + 405 p.

17. Galinsky, K. (1988). The anger of Aeneas. *The American Journal of Philology, 109*, 321–348.

18. Galinsky, K. (1996). *Augustan culture*. Princeton: Princeton Univ. Press. xi + 474 p.

19. Griffin, J. (1985). *Latin poets and Roman life*. London: Duckworth. xiv + 226 p.

20. Johnson, W. R. (1976). *Darkness visible: A Study of Vergil's Aeneid.* Berkeley: Univ. of California Press. x + 179 p.

21. Lyne, R. O. A. M. (1987). *Further voices in Vergil's Aeneid.* Oxford: Clarendon Press. ix + 252 p.

22. Momigliano, A. D. (1994). *Studies on modern scholarship.* Ed. by G. W. Bowersock, T. J. Cornell. Berkeley: Univ. of California Press. xxi + 341 p.

23. Otis, B. (1966). *Ovid as an epic poet*. Cambridge: Cambridge Univ. Press. xiv + 411 p.

24. Parry, A. M. (1963). The two voices of Virgil's Aeneid. *Arion, 2*, 66–80.

25. Putnam, M. C. J. (1995). *Virgil and the Aeneid: Interpretation and influence.* Chapel Hill; London: Univ. of North Carolina Press. 332 p.

26. Putnam, M. C. J. (2000). *Horace's Carmen Saeculare: Ritual magic and the poet's art*. New Haven: Yale Univ. Press. x + 182 p.

27. Schiesaro, A. (2008). Furthest voices in Virgil's Dido. *Studi italiani di filologia classica, 6*, 60–109, 194–245.

28. Syme, R. (1939). *The Roman Revolution.* Oxford: Clarendon Press. xii + 568 p.

29. Thomas, R. F. (2001). *Virgil and the Augustan Reception*. Cambridge: Cambridge Univ. Press. xx + 324 p.

30. Zanker, P. (1987). *Augustus und die Macht der Bilder* [The Power of images in the age of Augustus]. München: Beck. 368 p. (In German).

31. Ziolkowski, T. (2005). *Ovid and the Moderns*. Ithaca: Cornell Univ. Press. xvi + 252 p.

Political context of Roman poetry

Shumilin, Mikhail V.
PhD (Candidate of Science in Philology), Senior Researcher, Laboratory of Antique Culture, School of Advanced Studies in the Humanities, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: mvlshumilin@gmail.com

Abstract. The focus of post-war Latin studies on the political context of Roman poetry has been largely on identifying in a poetic text either a statement supporting the ruler or some details subverting this statement. It is perhaps sensible to direct attention rather to the text as a complex description of the world, including some kind of implicit political philosophy, and to turn from generalizations to working with minute details of how the political aspect functions in each particular passage of Roman poetry.

Keywords: politics, Roman poetry, Virgil.

Shumilin, M. V. (2015). Political context of Roman poetry. Shagi / Steps, 1 (1), 213–222